Артур и Нелюдь

Марк Тимин
Артур и Нелюдь

https://litres.ru/74499808
SelfPub; 2026

Аннотация

Семнадцать лет Артур жил в режиме полнейшей эмоциональной мерзлоты. Ни любви, ни привязанностей, ни боли. Только четкие алгоритмы и тишина глубокого архива.

Все рушится в ночь на 14 ноября. Привычные улицы сворачиваются в кошмарный лабиринт, а из тьмы выходит Нелюдь, издающий одновременно дикий плач и жуткий хохот.

Спастись не выйдет. Это чудовище знает о нем абсолютно все. Оно вышло на охоту не за его жизнью, а за вытесненной памятью.

Содержание

ПРОЛОГ 4
О тех, кто вымораживает себя 4
АКТ I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СКЛЕП 6
Дозы 6
Алгоритм 7
Спуск 10
Бумага не умеет предавать 12
Запах липы 14
Анна Сергеевна 15
Распад имени 18
Ноябрьская палата 21
Закрытый проект 24
Свинцовый контейнер 27
Трещины 29
Четырнадцатое ноября 32
АКТ II. РАСПАД ЕВКЛИДОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 34
Точка 34
Шестнадцать минут 36
Выключение звука 37
Бессветье 38
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Артур и Нелюдь

ПРОЛОГ

О тех, кто вымораживает себя

Есть люди, которые ломаются сразу — громко, на виду, с осколками на полу. Их жалеют, их поднимают, им приносят воду. И есть другие. Они не ломаются. Они замерзают. Почти незаметно, градус за градусом, пока внутри не останется ничего, что могло бы ещё дрогнуть от чужого тепла.

Их не называют несчастными. Их называют собранными, надёжными, взрослыми. Они приходят вовремя. Они не плачут в общественном транспорте. Они умеют закрывать двери так, чтобы за ними не осталось сквозняка. Мир любит таких людей: им можно поручить архив, смену, чужую тайну, чужое горе — всё, что требует присутствия без участия.

Но замерзание — не характер. Это стратегия. Её выбирает тот, кого однажды ударили точно в то место, где он ещё умел быть живым. После этого он делает вывод, простой, как инстинкт животного: если не привязываться, не будет и разрыва. Если не открывать ладонь, в неё нельзя вложить чужие пальцы — и нельзя эти пальцы потерять.

Так рождается функциональный склеп. Снаружи — без-

упречная жизнь. Внутри — камера, в которую сброшено всё, что не поддалось каталогизации: стыд, нежность, детский ор, несказанные слова у больничной койки. Человек искренне верит, что закопал это навсегда. Он не знает главного закона вытеснения: то, чему отказано в имени, не умирает. Оно растёт в темноте. Оно учится ходить. Оно однажды выходит навстречу — и тогда его уже нельзя назвать своим. Тогда его называют Нелюдью.

Эта повесть — о такой встрече. О человеке, который выстроил из собственной души идеальный архив. И о той части его самого, которую он сдал в подвал, как устаревший том, не подлежащий выдаче.

Имена здесь настоящие ровно настолько, насколько настоящая боль. Город можно не называть: любой большой город зимой умеет быть склепом. Важна не география. Важна дата. Четырнадцатое ноября. День, когда умерла единственная женщина, державшая над ним крышу. И ночь, когда крыша, которую он выстроил сам, наконец обрушилась.

АКТ I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СКЛЕП

Дозы

Человек способен привыкнуть к любой, даже самой разрушительной боли, если выдавать её себе равными, почти невидимыми дозами. Артур выучил этот закон рано — в том возрасте, когда другие ещё верят, что мир держится на любви, а не на привычке не чувствовать.

Окружающее казалось ему хрупкой, глубоко ненадёжной конструкцией, готовой рухнуть от случайного колебания. Чтобы не быть погребённым под обломками чужих надежд и внезапных трагедий, он превратил существование в механизм: страдание на входе, функциональная пустота на выходе. Спонтанность, случайные встречи, глубокие привязанности и импульсивные решения были исключены из обихода, как предметы, не прошедшие инвентаризацию. Вокруг внутреннего «я» выросла броня из алгоритмов, ритуалов и привычек, которым он доверял больше, чем людям.

Ему было тридцать четыре. Семнадцать из них он прожил так, будто жизнь — это смета, которую нельзя превышать.

Алгоритм

Каждое утро начиналось с ритуала механической безупречности. Будильник срабатывал в шесть — в то зыбкое время, когда за окном ещё стоял ноябрьский сумрак, а город только ворочался в сырой постели. Артур не позволял себе лишней минуты. Звук электроники ещё не затихал, а он уже стоял босыми ступнями на холодном паркете.

Через тридцать секунд он был под ледяным душем. Горячую воду он принципиально не включал. Жёсткие струи обжигали кожу, мышцы спазмировались, дыхание перехватывало сиплым толчком. Холод впивался в виски и промораживал затылок. Именно этого шока он добивался: выморозить способность чувствовать до того, как утренние мысли успеют сгуститься в образы, а в памяти проплывут призраки.

Он стоял ровно три минуты, дыша тяжело и ритмично, пока оцепенение не добиралось до глубоких слоёв. Разум очищался от липких снов, которые ночью пытались пробить оборону. Когда он выключал воду, кожа была мертвенно-бледной, пальцы едва сгибались, но внутри стояла звонкая, стерильная тишина. Он принимал её как награду.

Вторым этапом была единственная за день сигарета. У приоткрытого кухонного окна в квартиру врывался воздух, пропитанный мокрым асфальтом, выхлопом и увядающей листвой. Внизу, за переплетением оголившихся ветвей, про-

сыпался чужой город. Перекликались первые машины, где-то дворник скреб метлой по обледенелой брусчатке, в окнах противоположной многоэтажки загорались тусклые жёлтые квадраты.

Артур щёлкал колёсиком зажигалки. Огонёк выхватывал сухое лицо: высокие скулы, прямой нос, тёмные глаза без блеска, губы, сжатые в тонкую линию. Первая затяжка обжигала вымороженное горло. Он смотрел вниз, на колышущиеся тени, и не ощущал ничего — ни тоски по теплу, ни страха перед днём, ни одиночества. Дым уходил в форточку, растворяясь в серой пелене, и уносил с собой остатки уязвимости, которые сон не успел добить.

Затем — чашка чёрного кофе, густого, из зёрен тяжёлой обжарки, без молока и сахара. Кофе должен был быть обжигающе горьким, как само осознание бытия. Он пил маленькими глотками, стоя у стола и глядя в одну точку на полированной поверхности, пока терпкость не запечатывала рецепторы.

Финишем становилась одежда. Белоснежная рубашка с жёстким воротником служила не гардеробом — доспехами. Когда он застёгивал перламутровые пуговицы до горла и затягивал тёмный галстук, тело окончательно заковывалось в броню. Эта ткань защищала его от мира, в котором не существовало чётких алгоритмов, где люди позволяли себе спонтанные, неконтролируемые и потому опасные эмоции.

Он надевал тяжёлое пальто, заправлял шерстяной шарф,

проверял ключи и пропуск. Ровно в 07:15 открывал входную дверь. Никаких колебаний. Алгоритм был запущен. Механические часы его жизни отбивали очередной безупречный и совершенно пустой день.

Спуск

Путь от дома до работы занимал двадцать четыре минуты. В маршруте не было места отклонениям, киоскам, витринам. Он шагал по ноябрьским улицам размеренным шагом, глядя строго перед собой. Город жил суетливо: спешили люди с потухшими глазами, в давке проезжали автобусы, из подземных переходов вырывались волны душного тепла. Артур скользил сквозь эту массу, как бесплотный призрак, не касаясь никого и не позволяя коснуться себя.

Иногда на перекрёстке его задевало плечом. Он извинялся первым — ровно, без интонации — и продолжал путь, как будто столкновение произошло не с человеком, а с подвижной частью городского инвентаря.

Старое административное здание из серого гранита встречало тяжёлыми дубовыми дверями и прохладой высокого вестибюля. Путь Артура лежал не вверх, к светлым кабинетам, где кипела бессмысленная суета, а вниз. Через глухую техническую дверь в глубине коридора первого этажа он спускался по узкой бетонной лестнице с стёртыми полукруглыми ступенями — в самый глубокий полуподвал.

Место напоминало заброшенный подземный пантеон. Вместо статуй богов — бесконечные ряды серых металлических стеллажей. Воздух был пересушен принудительной вентиляцией и пропитан пылью пожелтевших страниц, ти-

пографской краской и едва уловимым озоном высоковольтного оборудования.

В глубине, за рядами архивов, мерно гудели серверные стойки. Их низкочастотный гул прорезали вспышки синих, зелёных и янтарных диодов. Здесь, на стыке угасающего бумажного века и холодной цифровой эры, Артур чувствовал себя в безопасности, которой не давал ни один жилой этаж.

Бумага не умеет предавать

Работа заключалась в систематизации, сверке, каталогизации и архивации устаревшей документации: технических регламентов, смет, массивов цифровых логов. Для любого другого это была бы иссушающая рутина. Для Артура — единственное надёжное спасение.

Бумага и цифры обладали незаменимым качеством: они не умели предавать. Документы не задавали вопросов, не требовали сочувствия, фальшивых улыбок, дежурных расспросов о самочувствии. Они не навязывали эмоций, не впадали в истерики и не растворялись в небытии без предупреждения. Они требовали дисциплины, точности, педантичности и умения годами не задавать лишних вопросов к содержанию.

Сверяя номер акта с реестром, Артур ощущал себя хирургом, препарирующим хаос и превращающим его в идеальную мёртвую структуру. Живое не поддаётся описи. Мёртвое — поддаётся. В этом была вся его теология.

Он садился за тяжёлый двухтумбовый стол, освещённый одиночной лампой с зелёным абажуром. Порядок был доведён до абсурда: ровные стопки папок, чёрная авторучка строго параллельно краю дубовой столешницы, монитор без отпечатков, гелевая подушка для запястий. Никаких фотографий, сувениров, кружек с надписями. Стол был свободен от

следов личности так же, как его сознание.

Экран вспыхивал холодным светом. За стеной отбивали секунды старые настенные часы. Время в полуподвале теряло рваный ритм мегаполиса и становилось густым, вялым потоком, в котором можно было раствориться. Артур надевал тонкие хлопчатобумажные перчатки, бережно брал пожелтевшую папку с истлевшими завязками и на ближайшие девять часов переставал быть человеком со своей историей. Он становился элементом системы — живым продолжением стеллажей, покрытых пылью прошлых десятилетий.

Иногда, ближе к вечеру, сверху спускался Степан Ильич, ночной сторож, бывший электрик, человек с серой щетиной и запахом махорки, навсегда въевшимся в телогрейку. Он ставил на край стола термос с чаем, который Артур никогда не открывал, и говорил одно и то же:

— Живёшь ты, Каменев, как святой в склепе. Святые хоть молятся. А ты что делаешь?

— Святые не сверяют инвентарные номера, — отвечал Артур, не поднимая глаз.

Степан Ильич хмыкал, чесал шею и уходил наверх, оставляя термос. К утру чай остывал. Артур выливал его в раковину технического санузла, споласкивал крышку и ставил термос у двери — пустой, чистый, готовый к следующей ненужной доброте. Он не испытывал к сторожу ни раздражения, ни благодарности. Доброта была ещё одной формой шума. Шум следовало удалять.

Запах липы

В монотонном шуршании архива иногда встречались папки, пахнувшие не только пылью и старыми чернилами. Изредка, вытягивая с полки отчёт сорокалетней давности, Артур ловил едва уловимый запах — смесь сушёных чабреца и липы, аптечной настойки валерианы и старого деревянного шкафа, пропитанного сухим теплом.

Этот призрачный аромат обладал разрушительной силой. На несколько секунд он пробивал броню и возвращал туда, где мир ещё не был закован в панцирь алгоритмов.

В прошлую жизнь. К бабушке.

Он ставил папку на стол, снимал перчатки, тёр переносицу и ждал, пока запах выветрится. Обычно хватало минуты. В ту неделю, что предшествовала четырнадцатому ноября, минуты уже не хватало. Запах держался на пальцах, как будто бумага решила больше не быть мёртвой.

Анна Сергеевна

Её звали Анна Сергеевна Волгина. Бывший больничный врач, женщина с редким сочетанием стальной дисциплины и почти святой чуткости. Она была единственным человеком, чьё присутствие в детстве Артура ощущалось как нерушимая защита.

Мать, Елена, умерла, когда ему было девять, — внезапно, от обширного кровоизлияния. Анна Сергеевна дежурила в той же больнице и не успела. Она пришла в ординаторскую, сняла халат, села на железную кушетку и долго смотрела на свои руки, как на инструмент, который внезапно отказал. Потом поднялась, забрала внука из школы и больше никогда не говорила о своей вине вслух. Но Артур, даже ребёнком, видел: с того дня в ней поселилась тихая, сухая решимость не отпускать живых.

Отца он почти не помнил. Мужчина с запахом бензина и редким, неловким смехом исчез ещё раньше — сначала в командировки, потом в отсутствие, потом в полное ничего. Анна Сергеевна не ругала его. Она просто перестала оставлять ему тарелку.

В её старой двухкомнатной квартире с высокими лепными потолками и скрипучим паркетом время текло иначе — тепло, размеренно, безопасно. По воскресеньям на кухне закипал пузатый эмалированный чайник. Бабушка заваривала

липу, срезанную ещё в июле и высушенную на газетных листах. Пар пах пылью солнца. Она проверяла ему горло чайной ложкой, хотя он не болел, и говорила: «Профилактика — это уважение к телу, а не трусость».

Артур помнил её ладони — шершавые от антисептиков, с сухими, удивительно нежными пальцами, которые умели снять любую детскую тревогу одним касанием ко лбу. На внутренней стороне запястья у неё было синеватое пятно — след от вечной ручки, которой она писала назначения. Он иногда водил по этому пятну пальцем, как по карте.

Вечерами она читала вслух. Не сказки — Чехова. «Студента», «Архиерея», «Тоску». Она не смягчала текстов. После «Студента» — той новеллы, где костёр в саду связывал горе Петра с горем двух вдов через девятнадцать веков — она закрывала книгу и смотрела на него поверх очков.

— Запомни, Артур. Человек оценивается не по той броне, которую он на себя нацепил, а по тому, сколько тепла он способен отдать другим. Никогда не делай различий между людьми. Если кому-то рядом больно — протяни руку. Без расчёта, без предрассудков и без оглядки на то, кем этот человек является. Это единственное, что делает нас людьми.

Она учила его чувствовать мир в многообразии: слушать шелест липы за окном, замечать оттенки осеннего неба, открыто радоваться и не стыдиться слёз, когда становится тяжело. Её этика была проста, как законы природы. Сам её образ казался мальчику вечным — как гранитные фасады ста-

рого города, как эмалированный чайник, как запах сушёной липы в жестяной банке из-под печенья.

Он верил, что такие люди не умирают. Это была его первая и самая жестокая ошибка.

Распад имени

Реальность умеет наносить удары именно туда, где защитные барьеры отсутствуют вовсе.

Первые признаки беды прокрались в дом незаметно, когда Артуру исполнилось пятнадцать. Стальная память бабушки — врачебный кремень, державший тысячи диагнозов, дозировок и людских судеб, — начала давать едва заметные сбои. Сначала это казалось возрастной забывчивостью: ключи на столе, молоко на плите, растерянный взгляд при поиске нужного слова.

Потом она стала спрашивать, где Лена. Не в том тоне, в каком спрашивают о мёртвых. В том, в каком ждут, что дочь вот-вот вернётся с дежурства и повесит на крючок мокрый плащ.

— Мама умерла, бабушка, — говорил он. Тихо, как учат говорить правду в приличных семьях.

Анна Сергеевна кивала. Через десять минут спрашивала снова.

Болезнь не умеет останавливаться. Неврологический процесс шёл вперёд с жестокой последовательностью, шаг за шагом уничтожая личность. Артур с тихим ужасом наблюдал, как человек, бывший для него центром вселенной, превращается в растерянное существо, заблудившееся в лабиринтах собственного гаснущего разума.

Он помнил вечер, когда она впервые не узнала его. Она долго смотрела из глубокого кресла прозрачными, чужими глазами, в которых не было прежнего тепла, и спросила ровным, официальным голосом:

— Молодой человек, вы из вечерней смены? Скажите сестре, что я уже расписалась в журнале.

В тот вечер пятнадцатилетний Артур впервые почувствовал, как рушится реальность. Он выскочил на холодную лестничную клетку, сжал кулаки до крови от ногтей и рыдал навзрыд, не в силах вынести этой медленной, тягучей, ежедневной утраты. Он был беспомощен перед биологическим распадом. Ни любовь, ни её прошлые заслуги, ни все этические принципы не могли остановить равнодушный процесс.

Именно тогда, стоя на сквозняке тёмного подъезда, он впервые сформулировал правило, которое спустя годы станет его религией: если ты позволяешь себе привязаться, если открываешь сердце и даёшь чувствовать — мир обязательно ударит в это место и разорвёт тебя на части.

Чтобы выжить и не сойти с ума, наблюдая за угасанием, он начал возводить между собой и болью первую, ещё тонкую ледяную перегородку. Учился смотреть на её болезнь глазами постороннего, подавляя вспышки отчаяния, думая лишь о времени приёма лекарств и гигиенических процедурах. Он стал её сиделкой, её аптекой, её расписанием. Он перестал быть внуком.

Это была его первая победа над собственной чувствитель-

ностью. И одновременно — первое глубокое поражение, запустившее превращение живого мальчика в холодную функциональную статую.

Иногда по ночам она пела. Тихо, фальшиво, одним и тем же обрывком колыбельной, которую, должно быть, пела Лене. Артур лежал за стенкой, смотрел в потолок и считал трещины, чтобы не встать, не войти, не сесть на край кровати и не взять её руку. Он уже знал: если войдёт, утром будет хуже. Хуже — означало чувствовать.

Ноябрьская палата

Кульминация внутреннего вымораживания наступила спустя два года, когда бабушки не стало окончательно. К тому моменту она уже не вставала. Реальность вокруг неё сжалась до размеров узкой больничной койки в стационаре терапевтического отделения.

Артур помнил тот сырой ноябрьский день до мельчайших въедливых мелочей — они выжглись на внутренней стороне век, словно клеймо. Четырнадцатое ноября. Душная палата на третьем этаже старой городской больницы, пропитанная невыветриваемым запахом хлорамина, угасающих тел и влажной пыли. Жёсткий ритмичный писк монитора, отсчитывающий урежающиеся удары сердца. И он сам — семнадцатилетний юноша на жёстком табурете у изголовья.

В кармане пальто лежал сложенный листок. Ночью он написал то, что собирался сказать: о любви, о бесконечной благодарности, о липе, о Чехове, о том, что её уроки останутся внутри него, даже если он не сумеет их выполнить. Почерк был ровный. Он гордился этой ровностью, как гордятся последним осколком контроля.

Он должен был взять её истощённую сухую руку с посиневшими ногтевыми фалангами. Согреть ледяные пальцы своими ладонями, наклониться к уху и произнести живые слова, которые говорят уходящим. Это был последний

миг человеческой связи, последний шанс проявить открытую нежность.

Он не смог сделать даже этого простого движения.

Внутри включился аварийный предохранитель. Панический страх проявить слабость, расплакаться, отдать контрольный щит эмоциям и быть разорванным этой несоразмерной болью парализовал волю. Артур оцепенел. Вся сущность превратилась в камень. Вместо того чтобы смотреть в угасающие глаза единственного близкого человека, он упорно смотрел в заиндевевший угол больничного окна, где за двойным стеклом кружились первые мокрые снежинки. Он считал их. Фиксировал трещины на штукатурке. Слушал писк приборов. Делал всё, чтобы не допустить к сознанию простую и страшную истину: прямо сейчас рвётся последняя нить, связывавшая его с живым миром.

Листок так и остался в кармане.

Когда монитор зашёлся ровной непрерывной высокой нотой, Артур даже не вздрогнул. Он молча поднялся, аккуратно заправил край простыни, ровным чужим голосом поблагодарил дежурную медсестру и вышел в коридор. В туалете в конце этажа он вымыл руки до красноты, выбросил листок в круглую урну для бумаги и посмотрел на себя в зеркало. В зеркале никого не было — только мальчик в слишком взрослом пальто.

После похорон он не пролил ни единой слезы. Вернулся в пустую квартиру, сжал челюсти так, что в висках застучала

кровь, вымыл до блеска всю посуду, сложил бабушкины вещи по коробкам. В кармане зимнего пальто, которое она уже не надевала три года, он нашёл записку её рукой, ещё твёрдой, ещё врачебной: «Артур, купи хлеб и не забывай есть. Я буду поздно». Он прочитал один раз, сложил записку вчетверо и убрал в книгу — ту самую, с «Студентом». Книгу поставил на верхнюю полку. Больше не открывал.

На следующий день ушёл с головой в учёбу. Всю невыплаканную, удушающую горечь утраты запечатал в тяжёлый свинцовый контейнер памяти, похоронил на самой неисследуемой глубине и завалил сверху тоннами конспектов, а позже — архивных регламентов и отчётов.

С этого момента его стратегия выживания стала абсолютной. Любой эмоциональный опыт, не поддававшийся логической систематизации или угрожавший нарушить внутренний покой, подвергался немедленной зачистке и вытеснению.

Он не понял тогда одной вещи, которую Анна Сергеевна знала как врач: ампутация не убивает боль фантомной конечности. Она делает её невидимой для всех, кроме того, кого ампутировали.

Закрытый проект

Спустя несколько лет случилась попытка близких отношений. Её звали Вера Ильина. Она работала в реставрационных мастерских при городском музее — возвращала лицам на потемневших холстах утраченные черты. Ирония была слишком прямой, чтобы Артур её заметил: она восстанавливала то, что время повредило. Он архивировал то, что время убило.

Они встретились в букинистической на углу. Она уронила том Цветаевой. Он поднял книгу двумя пальцами, как документ, не подлежащий загрязнению, и протянул ей, не улыбаясь. Вера рассмеялась — коротко, удивлённо.

— Вы держите книги так, будто они могут укусить.

— Бумага боится жира, — сказал он. Это была первая фраза, которую он произнёс ей. Позже она будет повторять её как шутку. Позже она перестанет шутить.

Вера была человеком тепла без наивности. Она не ломала двери. Она стояла у них достаточно долго, чтобы тот, кто внутри, мог открыть сам. У неё на левом запястье шёл тонкий белый шрам — след стекла. Однажды вечером, в её комнате, заставленной кюветами и кистями, она рассказала, как в двадцать упала вместе с рамой. Рассказала просто, без требования симметрии. Артур выслушал, кивнул и занёс историю в невидимый реестр фактов о человеке, с которым жи-

вёт. Сочувствия не последовало. Он не умел его изготавливать.

Год тянулся как сложная реставрация: слой за слоем она снимала его лак, а под лаком не оказывалось изображения — только грунт. Она просила спонтанности, разговоров допоздна, откровений. Для Артура союз быстро превратился в истощающее поле боя, где алгоритмы ежедневно подвергаковались.

Она готовила. Он сразу мыл посуду, пока кастрюли ещё дышали жаром.

— Оставь крошки, — говорила она. — Они доказательство, что мы ели вместе.

Он не оставлял. Чистый стол возвращал ему пульс.

Однажды ночью ей приснился пожар в мастерской. Она разбудила его, дрожа, просила остаться, просто лежать рядом, не спать даже. Он оделся, завязал галстук — зачем галстук в три часа ночи? — и сказал, что завтра сверка фонда, нельзя являться несобранным. На пороге она держала его за рукав.

— Там, внутри, комната на замке, — сказала она, положив ладонь ему на грудь. — Я слышу, как за дверью кто-то плачет. Пусти меня. Или выпусти его.

— Ты устала, — ответил Артур. — Это антропоморфизм. За дверью никого нет.

Когда отношения пришли к кризису — с упрёками, слезами и долгими паузами тяжёлого молчания, — он не стал

бороться, выяснять причины или проживать боль расставания. Поступил так, как привык поступать с устаревшей документацией: сухо классифицировал происходящее как «закрытый проект», не подлежащий пересмотру, анализу или восстановлению.

Он собрал её вещи. Свитер, который она оставляла у него на спинке стула, был сложен с военной точностью. Стопка её книг. Полумёртвый фикус в глиняном горшке, который она купила, «чтобы в этой квартире кто-то дышал». Ровно в назначенный час он передал коробку у двери. Внёс номер в чёрный список. Стёр общие фотографии с носителей.

Вера стояла на площадке в пальто не по погоде и смотрела на него так, как смотрят на икону, с которой сошёл лик.

— Ты даже не злой, — сказала она. — Злость — это ещё жизнь. Ты просто отсутствуешь. Как будто тебя уже сдали в архив, а ходить оставили оболочку.

Он вежливо кивнул, потому что кивок был предусмотрен протоколом завершения. Закрыл дверь. Прислонился лбом к дереву. Стоял так две минуты — ровно две, он считал — и пошёл мыть кружку, из которой она пила чай с сахаром, против его правил.

Никаких воспоминаний. Никаких рефлексий. Никаких сожалений. Проект закрыт. Папка сдана.

Он не знал, что папка не закрылась. Он знал только, что тишина в квартире стала ещё чище. Чистота казалась победой.

Свинцовый контейнер

Давние детские страхи перед темнотой, глубоко похороненный стыд за трусость у кровати бабушки, искры несбывшихся юношеских надежд стать кем-то большим, чем бесстрастный учётчик, — всё это планомерно прессовалось, трамбовалось и сбрасывалось в тот же контейнер. Туда же ушла Вера. Туда же ушла Елена, которую он почти не помнил, кроме запаха больничного мыла в её волосах. Туда же ушёл мальчик на лестничной клетке, который ещё умел орать.

Артур гордился своей сдержанностью. Смотрел на окружающих — с их срывами, публичными слезами, страданиями из-за любви и паникой перед будущим — с лёгким холодным превосходством. Считал эмоциональную глухоту высшей формой интеллектуальной зрелости.

Он не понимал и не замечал главного. Заталкивая живую боль глубоко внутрь, он не уничтожал её. Оказавшись в кромешной тьме вытеснения, отрезанные от света сознания эмоции не погибали — они видоизменялись. Прессовались, слипались в монолит, напитывались скрытой тоской и трансформировались в чудовищное, искажённое нечто, обретающее собственную слепую волю.

Артур превращался в монолит из застывших чувств, в холодную статую, лишённую внутреннего тепла. А на дне ду-

ши, в полной темноте и изоляции, вырос и набрал силу его личный кошмар.

Всякая идеально застывшая система иллюзорна. Нельзя годами удерживать закипающий котёл, просто заваривая клапаны: рано или поздно в толще металла появляются микроскопические напряжения, а сама конструкция начинает подавать первые, ещё едва различимые сигналы катастрофы.

Трещины

Сбои начались за две недели до той ночи. Они проникали в монотонный быт тихо, крошечными каплями, не нарушая общей картины, но отравляя её изнутри.

Первым сдало тело — та самая оболочка, которую он привык воспринимать как бессловесный инструмент. На морозном сквозняке утренней кухни, держа чашку с кофе, он внезапно ощутил мелкую ритмичную дрожь в пальцах правой руки. Это была не слабость и не усталость. Пальцы самопроизвольно вздрагивали, словно пытаясь ухватиться за невидимый предмет или смахнуть несуществующую пылинку. Он раздражённо поставил чашку, сжал кулак до побеления костяшек и заставил мышцы подчиниться. Стоило расслабить кисть — едва заметный спазм возвращался.

Он подумал о неврологии, о бабушке, о наследственности — и немедленно закрыл эту мысль как неклассифицируемую.

Затем поплыла идеальная геометрия подвального пространства.

Во время привычной работы с реестрами он всё чаще ловил себя на липком ощущении чужого присутствия. В полной изоляции, за закрытой на засов дубовой дверью, среди гудящих стоек, он вдруг отрывал взгляд от экрана и замирал. Казалось, за пределами светового пятна зелёной лампы,

в темноте между последними стеллажами, кто-то стоит.

Кто-то молчаливый, невидимый и бесконечно терпеливый. Этот «кто-то» не издавал звуков, но оттуда, из полумрака запылённых полок, веяло не архивной прохладой, а тяжёлым, могильным, удушающим холодом.

Несколько раз он поднимался, брал фонарь и проходил вдоль ряда до глухого угла. Пространство было пусто. Лишь мерцали синие светодиоды да сухо шуршала бумага. Он возвращался, давал себе рациональное объяснение про визуальную усталость — но стоило снова погрузиться в цифры, как затылок обдавало ледяным пристальным вниманием.

Однажды Степан Ильич, спускаясь с чаем, остановился на ступеньках и спросил:

— Ты с кем разговаривал?

— Ни с кем.

— Ну да. А у тебя губы шевелились. Как у тех, кто молится, только наоборот.

Артур не ответил. В тот вечер он вылил чай, не дожидаясь утра.

Но страшнее всего оказались ночи.

Утренний ледяный душ больше не вымораживал сознание до конца. Броня, безупречно работавшая годами, начала давать сбои во сне. Сны — вытесненные, заблокированные фрагменты истинного «я» — пробивали оборону.

Ему снилась одна и та же липкая картина: он бежит по бесконечному коридору больницы, стены выложены мокрой,

покрытой инеем кафельной плиткой. Под ногами чавкает тёмная густая вода. Из каждого закрытого бокса доносится монотонный писк приборов, сливающийся в единый оглушительный вопль. Он пытается зажать уши, но звуки проникают прямо в череп. Подбегает к последней двери, дёргает ручку — дверь распахивается, а за ней нет палаты. За ней открывается бескрайняя, вымороженная, обесцвеченная пустыня под монохромным небом. В центре стоит одинокое сухое дерево, и из его ствола доносится тихий, безудержный плач.

Иногда дерево имело лицо. Он не подходил ближе. Он и во сне умел не подходить.

Артур просыпался в холодном поту ровно в 05:40 — за двадцать минут до будильника. Сердце колотилось в рёбра, как запертый в клетке зверь. Он лежал на спине, уставившись в потолок, и чувствовал, как внутри нарастает невидимое, колоссальное давление.

Контейнер вытесненной боли был переполнен до края. Свинцовые стенки покрылись трещинами. Годы невыплаканных слёз, растоптанной нежности, похороненного стыда и панического страха спрессовались в гигантский заряд, готовый детонировать от малейшего внешнего толчка.

Четырнадцатое ноября

Он не держал календарей с пометками. Памятные даты были формой сентиментальности, а сентиментальность — формой протечки. И всё же тело помнило. Каждую осень, когда свет становился жидким и коротким, когда липы во дворе сбрасывали последние монеты листвы, в нём начинало сидеть что-то тяжёлое, не имеющее имени. В этом году имя само нашло его.

На титульном листе папки, которую он открыл в начале смены, стояла старая канцелярская дата: 14.11. Разумеется, другого года, другого ведомства, другого мира. Но цифры смотрели на него, как смотрел когда-то монитор.

Он закрыл папку. Открыл другую. В другой даты не было. Это не помогло.

Вечером 14 ноября Артур сидел за столом дольше обычного. Настенные стрелки приближались к двенадцати. В полуподвале было тише, чем обычно, — даже гул серверов казался понизившим тон до глухого урчания. Степан Ильич наверху уже спал в стеклянной будке, уронив голову на сложенную газету, как делал каждый вторник.

Артур медленно закрыл последнюю папку, выключил терминал и поднялся. Внутри царило странное, звенящее предчувствие: идеальный, безупречно выстроенный мир его контролируемой пустоты доживал последние минуты.

Он не знал, что в этот час, семнадцать лет назад, высокая нота монитора уже стояла в палате. Тело знало. Тело всегда знает то, что сознание соглашается архивировать.

АКТ II. РАСПАД ЕВКЛИДОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Точка

Металлический язычок замка защёлкнулся с сухим тяжёлым щелчком. Артур повернул массивный ключ в скважине дубовой двери на два полных оборота — так, как делал каждый вечер на протяжении пяти лет. В звонком полумраке подвального коридора этот звук прозвучал окончательно, словно поставленная в конце длинного уравнения точка.

Часы над дверью показывали без четверти двенадцать.

Он задержал руку на шершавой поверхности, проверяя надёжность запора. Рука была холодной и сухой. В здании стояла неестественная густая тишина, прерываемая лишь едва слышным гулом отопления в глубине фундамента. Все остальные давно ушли — к семьям, к телевизорам, к ужинам. Артур оставался один: последний обитатель гранитного монолита.

Он поднялся по узкой бетонной лестнице, миновал вестибюль, где Степан Ильич спал, уронив голову на газету, и толкнул тяжёлую входную дверь.

Осень в этом году выдалась ранняя и злая. Ледяной ве-

тер с севера мгновенно ударил в лицо, проникая под воротник. Улицы вымокли: мокрая брусчатка и растрескавшийся асфальт стали единой зеркальной тёмно-серой плитой, в которой дробились мутные отражения тусклых вывесок. Воздух пах озоном, мокрой сажей и прелой листвой.

Город казался вымершим. Мегаполис сам старался избавиться от лишних людей, погружаясь в липкую сырую дремоту.

Артур поправил шарф, натянул кожаные перчатки и ступил на мокрый тротуар.

Шестнадцать минут

Маршрут до дома был заучен телом на уровне спинальных инстинктов и не менялся годами. Сначала — три квартала по широкой центральной улице, где ещё тлели редкими янтарными пятнами фонари. Затем — срез через старый сквер с полусгнившими скамейками и облетевшими липами. После сквера — затяжной подъём по железной пожарной лестнице над технической зоной железнодорожного тупика. Наконец — узкий переулок между торцами многоэтажек, выводящий к его подъезду. Вся дорога занимала ровно шестнадцать минут.

Он любил эту точность так, как другие любят молитвы. Шестнадцать минут означали, что мир ещё подчиняется счёту. Пока путь занимает шестнадцать минут, ничто по-настоящему не сломано.

В тот вечер привычный космос его реальности начал распадаться с первого перекрёстка.

Выключение звука

Сначала исчезли звуки.

Это не было постепенным затуханием — так не засыпает живой город. Звуковой ландшафт рухнул одномоментно, словно невидимый оператор повернул гигантский тумблер и вырезал из пространства всё наполнение. В одну секунду исчез глухой гул далёкого проспекта, пропал шелест шин по мокрому асфальту, выключился редкий лай из частного сектора за пустырём и гул ночного авиарейса за тучами.

Осталась звенящая вакуумная тишина. Она была настолько плотной, что у Артура заложило уши. Единственным источником звука стало собственное дыхание — чересчур громкое, сиплое, рваное — и сухой дробный стук каблуков по асфальту. Стук звучал неестественно, как удары деревянного метронома в огромном пустом зале.

Он замер. Сделал шаг назад — каблук отозвался тем же резким искусственным щелчком, не вызвав ни малейшего эха от стен близлежащего дома.

В детстве, в той квартире с лепниной, эхо было домашним: шаги по паркету возвращались от высоких потолков мягким теплом. Здесь эхо умерло. Мир перестал отвечать.

Бессветье

Затем наступило то, что он позже назовёт для себя «бессветьем».

Жёлтые шары фонарей вдоль центральной улицы не погасли в привычном смысле — не мигали и не перегорали. Они начали медленно выцветать, терять оптическую плотность, превращаясь из источников света в полупрозрачные водянистые коконы. Излучаемый ими свет больше не достигал земли. Он застревал в воздухе, сворачиваясь в мутные белесые сгустки, а затем погас и он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.